

*Внуков, чей путь ещё даже не начат,
незаменимые бабушки нянчат*

Р. Рождественский

Вы никогда не задумывались над тем, с какого возраста стали осознавать себя? Я пыталась припомнить, и поначалу не смогла. Но зато потом ко мне стали приходить зыбкие воспоминания – не чётко нарисованные картинки, а как бы еле уловимый след, непроявленные ощущения, или даже только их тень. То мнилось, что я лежу в коляске, завёрнута, как куколка бабочки, и колясочная крыша надо мной закрывает полнеба. Коляску баюкает всеильная ласковая рука, а погремушки, нанизанные на резинку, тихо потренькивают в такт покачивания. В воздухе столпотворение острых мартовских ароматов. Временами солнышко припекает сильнее и мне становится невыносимо жарко. Я начинаю сопротивляться произволу рабских пут, ворочаюсь, недовольно кряхтя. Но не реву во весь голос,

прекрасно понимая, что тогда прогулке конец. Мне удаётся ослабить давление пеленальной неволи, становится чуть прохладнее, и я блаженно засыпаю, глодая пустышку, что успокаивает и даёт обманное ощущение насыщения.

То вспыхивает вдруг в памяти дорога в общественную баню. Бабушка везёт меня на санках по грязному комковатому спрессованному снегу меж деревянных домов частного сектора. Баня – это вообще особенный мир. Сначала нужно смиренно сидеть в тёмном предбаннике в очереди. Мужчины заходят в одну дверь, а женщины в другую. Я не понимаю, зачем им разлучаться. Из приоткрытой двери валит пар, наполняя морозный воздух предбанника смесью из запахов мыла, хлорки, распаренных берёзовых веников. Зайдя в заветную дверь, следует отдать копейки старушке, похожей на крысёнка. Из раздевалки с множеством кабинок, как в «детсаде», в котором работала моя бабуля, должно, взяв серые страшные тазы, проходить в помывочную, и только оттуда можно попасть в парную – сущий ад. Мы не брали общественные тазы, а ходили со своими, большими эмалированными. Прежде чем налить воду для мытья, бабушка всегда ополаскивала тазики горячей водой.

Для меня было предназначено всё только самое-самое красивое: новенький оранжевый тазик – мне, а бабуле – простенький с отбитым краем. Моё полотенце розовое, пушистое и такое огромное, что можно с головой завернуться, а бабулино – обычное вафельное. Спала я исключительно на крахмальных кипенно-белых простынях. Пододеяльники приметные: вдоль всего полотна вывязанные крючком кружевные полосы. Бабушка гордилась своим бельём: «У Фёдорихи простынки-то – застиранные, а наши глянесь – слепит, аж глазам больно!».

Я лишь теперь стала задумываться, каким невероятным трудом достигалась это красота. Ледяную воду возить надо было из колонки. Выварку с бельём кипятили на русской печке. Помню, как маленькая худенькая бабуля поднимала тяжеленную бочкообразную выварку на высокую печь в три этапа. Сначала поставит на маленький стульчик, затем на большой. Потом рывок штангиста, и последняя высота – печь, на открытую «коМфорку», на голый огонь. Сколько же «люминевых» детских ванночек воды необходимо было сменить, чтобы выполоскать наструганное хозяйственное мыло и «Персоль», да прокрахмалить неподъёмные мокрые пододеяльники.

В процессе задействованы первобытные орудия труда: ребристая доска, на которой, как на тёрке, натирают мокрые простыни, и две палки. Маленькая – весло для того, чтобы «шурудить» кипящую бельевую гущу. Длинная – мачта, что служит опорой для поддержки отягощённой пудовыми тканями верёвки.

Сушилось бельё обязательно на улице. Никакие свирепые сибирские морозы с ледяным ветром не могли воспрепятствовать моей героической Золушке вывесить белоснежные паруса. Помню красные, обожжённые морозом, маленькие нагруженные ручки, что заносят закостеневшие на холоде полотна, которые в контрасте с невысоким бабушкиным ростом кажутся огромными. Улыбающееся круглое, словно детское, личико, осиянное васьильковым счастливым светом. И запах свежего огурца и сладкого дыма от замороженной ткани, что врывается в натопленную кухню вместе с уличными холодными клубами.

«В горячей-то водичке состирнуть – это ж РАЙ!» – не раз впоследствии говорила мне бабушка, укоряя за устойчивую нелюбовь к постирушкам. На что мы с сестрой подтрунивали в ответ:

– Бабуль, у тебя какое хобби? Половички стирать?

– Э-эх, вас бы в моё детство. Мыла вообще не было, стирали золой. Полоскали в проруби. Руки, бывалча, от ледяной воды аж заломит...

Самой большой радостью в детстве было для нас с сестрёнкой засыпать вместе с бабушкой. Удивительное сладостное состояние покоя, защищённости и изливающейся абсолютной доброты, никогда более во взрослой жизни недостижимое. Хотя «засыпали» мы очень плохо, а больше хохотали, пока растревоженный шумом и обделённый вниманием дедушка не начинал из своей маленькой комнатки призывать нас к тишине. Смеялись, как сумасшедшие, над незатейливой бабушкиной сказкой про умного козла или над тем, как она начинала изображать сварливых соседок, а больше всего любили, затаив дыхание, слушать воспоминания из детства «про деревню».

Лишь со временем начинаю осознавать, да что она вообще могла помнить из своего детства? Ведь увезла её мама из родного села в девятилетнем возрасте. Раскулаченная вдова с шестью детьми бежала от ссылки в город. Да и скоро сторела там от воспаления лёгких на казённой больничной койке. Моя бабушка была самая младшая в семье. Старшие братья пошли работать в депо, девочек отдали «в няньки».

Вспоминала бабушка свою Воскресенку, словно была это не послереволюционная деревня, а благодатный Эдем на земле, где светится волшебным жемчужным светом белоствольная берёзовая роща, шумит бескрайнее ржаное море, перекатывая спелые волны, а на пригорке стоит маленькая церквушка в голубой шапочке, как девочка в ожидании приподздавших подруг.

Моя нежная трепетная бабушка производила такое впечатление, словно не коснулась её судьбы ни обжигающая война, ни разорённое сиротское детство, ни тяжкая работа до самого конца.

Я смотрела на неё с сердцем, наполненным любовью, и казалась она мне Золушкой из доброй сказки. «Уходящая натура» – говорят про таких людей современные режиссёры, действительно... И даже не уходящая, а уже почти ушедшая, оставшаяся лишь в воспоминаниях. Да и не поймёт, и не поверит нынешнее компьютерное поколение, что жили на земле люди ангельской природы, которые не отвечали злом на зло, умели прощать и делать добро просто – без надежды на воздаяния, а потому что так Бог велит.

Я ещё не волшебник. Я только учусь...

Помню, лет в пять я очень боялась, что в один ужасный момент бабушка может внезапно умереть. Это очень странно, потому что одновременно я помнила, нет, точно знала, что на самом деле смерти нет вовсе. Откуда-то из дожизненных пределов осталось во мне уверенное знание о бессмертии, о невозможности безысходного конца души. Бесконечность висела надо мной, дыша холодом в детский затылок.

Порой мне слышалась Вселенская музыка – многомиллионный сонм космических хоров, поющих в унисон беспрерывный вокализ, уходящий гулом в запредельность бытия. Вот только глупые взрослые тратили время на ненужную суету, разговоры и ругань, вместо того, чтобы слушать магическую музыку сфер. Взрослые, такие большие и могущественные, всегда заняты серьёзными разговорами, подсчётами, делами, которые вершат с неприступными строгими лицами. Но великие свершения эти, на самом деле, оказываются пустыми хлопотами: бельё гладят, а после первой же носки оно снова мнётся, бабушка стирает простыни до красных пятнышек на костяшках, а они вновь мараются. И вот никак не делается что-то самое важное, что главнее всего на свете. Только вот что?

Бабушка явно отличалась от слепой и глухой армии взрослых. Она, наверняка, скрывала, что тоже слышит, слышит на самом деле этот ангельский хор в вышине, только выдавать ей себя нельзя. Это ж – тайна.

– Бабушка, слышишь? Поют!

– Спи, доча, приснилось тебе. Спи.

– Ты что, правда, не слышишь? Поют же!

– Да-да, слышу. Провода гудят от мороза.

В самом дальнем углу, под потолком, на невидимом в кромешной тьме шкафу сидит кошка Мома, что умеет жить сразу в нескольких измерениях. Она – волшебница, сторожит границу миров, законы земных пределов. Мома не сводит с меня звёздных глаз, чутко следя, чтобы не увлекла дитятю запредельная музыка, чтобы не материализовались детские сны, впечатанные в незамутнённую память, чтобы не рассказало неразумное чадо о принесённых из высших слоёв знаниях, чтобы не поверили люди детскому лепету.

– Бабушка, смотри, там ЭТО сидит! Глазищи уставило!

– Да где ж?

– Во-он там. Оно не в комнате, а между нашей комнатой и той, другой, сидит. Есть ещё одна, другая, невидимая комната. И оно может и туда ходить, и к нам возвращаться.

– Да что ты, доча, это Момка на шкаф залезла. Сейчас прогоню её, что б спать не мешала. Брысь! Ну-ка...

Мома – комок голубого пуха, мягкого, как дым костров из пожухлой листвы, что разжигает дедушка, колдуя на приусадебном участке. Она бесшумно прыгает сначала на пузатый комод, потом на прохладный пол из широченных половиц и нехотя, с достоинством покидая спальню, без отрыва глядит на меня всепроникающим долгим взглядом: «Я слежу за тобой, дитя. Смотри не выдавай тайны!..»

Жалко, королевство маловато, разгуляться мне негде!

Обстановка в доме, как собственно сам дом и все надворные постройки, сделаны дедушкой собственноручно. Поверить в это трудно даже сейчас. Как человек без специального образования, движимый лишь талантом и безграничной любовью к семье, мог создать всё это: резной буфет, массивный комод, маленький стульчик у печки, круглый

обеденный стол. Вся мебель благородного вишнёвого цвета празднично поблёскивает. Только дедушка знает, что такую несусветную роскошь можно сделать из вагонки, густого раствора марганцовки, морилки и лака.

Двор, словно остров со множеством притягательных и загадочных мест: дровяник, углярка, сарай, погреб... Посреди острова – замок с обилием не менее секретных закутков: сени, полаты на русской печи, многочисленные кладовки, подпол, духовка... Но самый мажущий объект – это, конечно, шкаф-великан.

Грандиозное сооружение высится почти до самого потолка. Брюхо великана набито прекрасными бальными платьями, шёлковыми лентами и воздушными прозрачными пелеринами. В многочисленных ртах его – полках и ящиках – спрятаны настоящие драгоценности: сумочка феи, усыпанная бисером, броши, цепочки. Есть там разные очки, шляпы, кепки, панамы, даже «взаправдашние» волосы: шиньоны и косы, которые с лёгкостью могут превратить вас в совершенно другого человека.

Внутри гигантского чрева – огромное зеркало, наверняка, тоже заколдованное. Я люблю притаиться в темном шкафу, дыша смесью духов, нафталина и ещё чего-то таинственного, а рядом со мной в темноте тихонько сидит другая девочка. Она живёт в зеркале и трепетно слушает чудесные сказки, что возникают в моей голове.

– Бабушка, пойдём со мной я тебе что-то покажу! Залазь со мной в шкаф!

– Нет уж. Давай лучше я тебе что-то интересное покажу. – Бабушка достаёт из нижнего ящика старинный, потёртый кожаный ридикюль и выкладывает из него пачку пожелтевших фотографий с резными краями. – На, вот, посмотри, какая баба молоденькая была.

– Ты и сейчас молоденькая! – я внимательно разглядываю на старом снимке цвета тёмной сиены хорошенькую кудрявую девушку, точь-в-точь – Золушка из старого фильма, – Бабушка, ты в молодости Золушкой была, что ли?

Бабушка улыбается, но как-то совсем невесело:

– Да, доченька моя золотенькая, весь век в золушках. Как в одиннадцать лет отдали в няньки к чужим людям, так всю жизнь на людей варю, стираю, мою. В детсаде потом нянечкой да поварихой, да мало того, ещё и в ночь дежурства беру. Всех евреев на нашей улице обстирывала. Хорошо, хоть люди мне всё подряд хорошие попадались. Любили, жалели меня, а я их!

Бывалча, бегу на работку в детсад, из дому с собой дрова несу, чтоб просушённые, чтоб печка сразу разгорелась, не задерживать детям завтрак. Спросют, кто сёдня на кухне? – Нина Прокопевна. Ур-ра! Значит, сёдня всё вкусно будет! А товарки на меня забираются: «Что ж это, у Нины Прокопевны вкусно, а у нас, значит – нет!» А вот как-то моё-то всё-таки, видать, вкуснее!

– Бабушка, твоё – самое-самое вкусное! Сделай пельмешков! И котлеток! И картошечки рябенькой!

Дети не кривят душой, бабушкина еда была действительно неповторима! Своими волшебными руками она могла из простой муки, сахара и масла приготовить царский пир: горку тонких кружевных блинов, целый таз хрустящего сладкого хвороста, что надувался сам собой в раскалённой сковородке. Никогда после за всю свою жизнь, даже в изысканных французских ресторанах, я не ела ничего столь бесподобного...